

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

МАКСИМ ШАРДАКОВ

**ИСАЙКИНО
СЧАСТЬЕ**

12+

Очёр Live

живая история

Максим Алексеевич Шардаков

Исайкино счастье

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67820055

SelfPub; 2022

Аннотация

Многие видные советские государственные деятели, ученые и военачальники вышли родом из маленьких захолустных деревенок, как правило, из бедных многодетных семей. До Октябрьской революции все они терпели крайнюю нужду, с малых лет трудились наравне со взрослыми, голодали и бедовали, на себе испытав, что такое социальная несправедливость, косые насмешливые взгляды и даже откровенные издевательства богатеев. У них не было мало-мальски достойного будущего – ни при царском режиме, ни при буржуазном.

Поэтому после 1917 года выбор дальнейшей дороги был для них очевиден – вместе с трудовым народом, вместе с Красной Армией к дальнейшему счастью. Такой путь прошёл и герой нашего рассказа – сын крестьянина-бедняка из деревни Большой Заурал Очёрского района Исай Моисеевич Наберухин – от рядового красногвардейца до генерал-майора Советской Армии.

Максим Шардаков

Исайкино счастье

– Исайка, песий сын, да куда ж ты запропастился, окаянный? – неприятно сварливый голос, не сразу и разберешь чей – бабий иль мужичий, зашумел на все Афоничи. Даже сомлевшие от июльской полудремы злющие дворовые кобели вострепнулись и, просунув оскаленные морды в подворотни, зашлись истошным лаем.

Но Исайка и ухом не повел. Зажав меж колен щербатые грабли, словно солдат винтовку на привале, парень вполглаза подремывал, прислонившись к прохладной стене завозни. Он сильно устал – ведь, почитай, с самого рассвета на ногах. Хозяин, не дав Исайке ковшу воды испить и даже морду ополоснуть, вытолкал его взащей из сеней: дескать, иди робь – отмантуливай должок...

– Вот ты где пригрелся, шарлыган! – крючковатые пальцы мертвой хваткой с прикрутом сцапали исайкино ухо, так и не пожелавшее услышать грозный хозяйский голос. Неодолимая сила унижительной боли подняла не успевшего очухаться ото сна Исайку на ноги. – Всё бы ему ись, спать да кочумать! А назьмо кто убирать будет? Дух святой? Или, может, я? – со-

рвался на поросячий визг хозяин, огромного роста пузатый мужик – а по голосу и не скажешь...

– Навязали дармоглота! Р-работничек! – брызнул тот слюной прямо на исайкины щеки и начал привычно разорять-ся. – Я вот вас ужо! Я вас научу, неслухов, волю хозяйску издаля чуют! Запорю всех!

Ругань была едва не дословно знакома всему живому на большом кулацком дворе, поэтому, не вняв ничего нового, жизнь пошла обычным чередом: собаки, зажав промеж задних лап пыльные хвосты, попёрлись в конуры, кот на всякий случай забрался чуть повыше по стволу старой рябины, куры, выгнув полысевшие шеи, клювами тянули из-под прелых рогож дождевых червяков, а Исайка, сменив грабли на вилы, побрел убирать навоз...

– Потому-то и нищелюды вы, Наберушки-побирушки, лодыри поганые! – хозяин напоследок выплюнул в спину Исайке самую обидную обиду.

И ведь до слез обидно Исайке – никогда они, Наберухины, лодырями не славились, не христарадничали, и сейчас-то даже четверти часа не отдохнул, а вот на-ко, опять виноват. Не любит его хозяин, травит кажинный день почем зря, бдит, чтоб ни секунды без работы не сидел, чтоб гнул хребет без передыху и чтоб, не дай бог, не стащил чего из закровов. Да сроду Наберухины ничем чужим рук не марали!

Еще совсем недавно было у них не шибко завидное, но все же хозяйство. Лошадь – смирная, ласковая. Рыжуха... Отец

привел ее на двор из самого Очёра – двадцать верст пешком, под уздцы. Не посмел верхом оседлать будущую кормилицу. Долго, с матюгами и хватаниями за грудки, торговался он с хитрым вотяком-прасолом. Тот с усмешкой затягивал сделку, глядя, как отец зажимал в дрожащих ладонях шапку и все не решался бросить ее наземь, согласившись с ценой. И только вдосталь помурывив крестьянина, купчина смилоствивился, и они ударили по рукам. Счастью не было предела в большой Исайкиной семье: мать украдкой всплакнула, увидав как Исайка с сестренками тянули к лошадиной морде ручонки с посоленными хлебными горбушками, гладили Рыжуху по потному крупу...

Эх, пришлось свести ее в Афоничи, на двор к кулаку Щелкунову – за муку да посевное зерно, чтобы с голоду ребятишкам не помереть... Рыжуха и сейчас робит на щелкуновских полях. Но завидев своего бывшего владельца, даже ржануть не смеет – только робко косит на Исайку слезливым глазом и тихонько всхрапывает: не жалуется Щелкунов подобных нежностей – еще огреет кнутом. Не любит кулак тех, кто на него батрачит и кого за это еще и кормить надо: ни лошадей, ни людей.

И коровенка пала... А за ней и маманя с младшей сестренкой – недород случился неожиданный, а оттого и губительный. Бабушка с дедом тоже быстро «сгорели», одного за другим снесли их на погост, потому что старики просто перестали есть – все старались внукам отдать, чтоб хоть малыши

протянули сколько-то.

Вообще много чего пришлось тогда снести из бедной избушки, через год в ней было хоть шаром покати – даже пропить нечего... Осиротевший отец так и не вылез из нужды. Безземельный и безлошадный, батрачил на толстопузых богатеях за харчи да жалкие копейки.

– А-а-а! И-и-ыыы! – почти каждый вечер страшный протяжный стон разрывал голые стены опустевшей избы. Закусив зубами спутанную бороду, Исайкин отец добела сжимал кулаки над давно не скобленным столом. Тяжело сопя, он поворачивал голову то на печку, где, застыв от ужаса, замерли детишки, то на матовый от неубранных теней красный угол, откуда без всяких пристрастий и сочувствий, едва не зевая от скуки, глядели на его горе святые угодники. И только ошметки старой, давно покинутой пауком паутины, качались от жара едва теплившейся лампадки: нужда есть нужда – даже паукам в бедняцком жилище нечем было поживиться...

– А-а-а! И-и-ыыы! О-а-аа! – вновь раздался стон, и самая маленькая сестренка Исайки не выдержала, задрожала прикусенными губками и вскоре заревела в голос.

Был бы во хмелю – не так жутко, малыши ничуть не боялись пьяного папку. Пошумит, покуражится и утихнет, пальцем никогда никого не тронет – хоть на шею ему садись да за волосья дергай. А тут-то ведь трезвый...

Дочкин плач приводил Исайкиного отца в чувство, он на мгновение зажмурился, тёр заскорузлой ладонью по гла-

зам, словно пытался стряхнуть с него выражение тоски и горя. Но горе – не морозный узор на окошке, не пыль на полатях. Просто так не смоешь, не сотрешь... Это Исайка уже тогда понимал, садился рядом с отцом на лавку, невольно копируя его сгорбленную фигуру и вздыхал по-взрослому. Потому что Исайка и так был уже взрослый – в десять-то лет... – Силушки нет, Исайка! Придется и тебе в наймыши иттить, – принял решение отец и наутро отвел его в Афоничи, к кулаку Щелкунову, как когда-то Рыжуху...

Вечно всем недовольный, как дристливая корова, Щелкунов до полусмерти затуганил в работе домашних – чего тут говорить о батраках. Похаживал по двору, словно тюремный стражник, гундел, указывал, чуть что – орал благим матом на работников.

Почитай с полсотни мужиков окрестных деревень да починков были у Щелкунова в долгах как в шелках, а когда их почти подчистую подмели на Империалистическую, эти самые растущие день ото дня долги-шелки приняли на свой хрип бабы-солдатки. Тут-то кулак и вовсе остатки стыда порастерял. Вспашет кому скромный наделишко, да потом половину урожая себе и зграбастает. Да и не сам и вспашет-то, а Исайка...

Ой, и жадён же был Щелкунов, жадён как жаба до мух.

Ссужал в долг всякую завалыщину, что даже кулацкие сви-
ньи жрать не стали б, а взад требовал все доброе и свежее, да
еще в три-пять раз больше! И не молча «доброту»-то свою
проявлял, а с приговорками: честил-сволочил по-всякому
берущего, а себя нахваливал, как бескорыстного благодете-
ля. А кто спорить смелился, тому всё руки свои вонькие со-
вал под нос: гля-кося, дескать, трудом непосильным изнуре-
ны.

«Ага, как же... Да он тяжелее енды с брагой уж лет два-
дцать, поди, ничё не подымал! Сволочь!», – думал Исайка,
разгребая навоз, и вилы ходуном ходили в его не по-детски
натруженных руках. Не раз будто нечистый ему нашептывал:
мол, парнище, вилы-те не в назём суй, а в брюхо своему хо-
зяину-супостату. И до того явственно шептал, что Исайка
зажимал уши руками, а потом долго крестился на все сторо-
ны света...

Исайка давно сбежал бы от Щелкунова, да боялся, что тот
тогда вовсе отца замордует. «Вот бы в заводские поступить.
Сказывают, есть заводы в Очёре да в Павловске. Вот где раз-
веселое-то житьё – и рядом совсем. Не паши, не сей, оттру-
бил урок – и на гулянку девок шшупать! Картуз бы купил се-
бе да бате. Сестренкам – пряников или чего-там еще имя на-
добно. Да живы ли, сестренки-те?», – мечты Исайкины были
такие же простые и неказистые, как вся его беспросветная,
серая с серым, жизнь.

Черный картуз с лакированным козырьком – предел его

грёз, даже снился ночами чаще, чем мать-покойница. И что над ним смеяться – сроду не имел Исайка путной одёжи, а у Щелкунова в наймышах и вовсе пооборвался. И в жар, и в мороз – на все сезоны одна шапчонка, похожая на растерзанную собаками кошку. Задрипанные штаны давно сопрели по швам, заплаты болтались на коленях, словно высунутые изо рта языки. Выцветшая рубашонка колом стояла от пота – соль с подмышек и вехоткой не ототрешь. А обувь... Голые пятки в цыпках, каменно загрубевшие, хоть босиком по снегу летай – вот и вся Исайкина обутка! Даже лапти берег...

«Эх, в Очёр бы утечь! Отоспался бы там за всю жись», – зевнул Исайка, не зная, что Очёр он увидит уже совсем-совсем скоро. Вот только спать ему там опять не велят...

...Проезжал как-то через Афоничи по торговым делам богатый очёрский купец Вилесов. Остановился на передых у своего старого знакомого Щелкунова: знал, что у того всегда в заначке имеются запотевшая бутылка кумышки да соленые кубышки на закуску – прямо из голбца, на зубах хрустят и в брюхе тают.

Сели приятели в тенечке, под пышный сук рябины. Час-другой гуляют – бабы не успевают разносолы таскать. Вилесов пить-то пьет, стопку мимо рта не проносит, но глазками-бусинами туда-сюда мажет – чужое хозяйство всегда лю-

бопытно обозреть, может, что полезное и выглядишь...

И выглядел-таки, протобестия: Исайка носится по двору как угорелый – все успеваает, за десятерых ворочает, сопли некогда утереть. Завидно стало купцу: лучших его работников на войну с германцем забрали, нужник вычистить некому, а тут – молодой совсем да резвый. Чай, не обожрёт! И пристал как клещ Вилесов к кулаку: дескать, отдай мальчугана. Щелкунов засуетился было: дрянь, мол, работничек – неумеха и лоботряс. Неохота терять такого страдника в самую горячую пору, да как не уважить купца – обидится и перестанет лён да хлеб покупать. Тороват был Щелкунов да тушист, но против Вилесова – щеклея, мелкий хозяйчик... Завернул он бороду в кулак, дерганул в сердцах и крикнул:

– Исайка! Положь-ка короба да подь сюды скоренько...

Исайка давно исподтишка косился на пьющих и отчаянно злился. Ну, хоть бы косточку объеденную подали со стола, мироеды, ан нет – как не видят. С вечера ничего не жрал парень, оттого бродило-урчало в его тощем пузе как в кадучке с квасом. Обрадовался Исайка, думал, совесть у них проснулась, и угостят все же чем-нибудь, потому резво подскочил к столу. «Боёк угланчик!» – Вилесов со скрытым удовольствием оглядел будущего работника. Щелкунов кашлянул:

– Хм-хм, ты вот что, малый – сбирай-ка манатки и езжай с Андреем Григорьевичем. Чудно, ей богу, но приглянулся ты ему чем-то, так что дале харчить тебя у меня нет расчета. Хватит – пожировал под моим крылышком. Да кланяйся,

пентюх, теперь он твой благодетель!

Манатки.. Какие там манатки! Чем богат – всё на нем! От Щелкунова Исайка хоть к чёрту в ад готов был сбежать в услужение. Он, разинув рот, стоял посреди двора и рассеянно наблюдал, как Щелкунов с Вилесовым степенно встали из-за стола – трезвёхоньки, словно и не выдули чуть не четверть 40-градусной кумышки. Почеломкались, поручкались – купец с ухмылкой, а кулак с нескрываемой досадой – и вышли за ворота.

А Исайке подумалось, что они словно баре крепостного заторговали. Еще в малолетстве он слышал от деда, что в старину граф Строганов продал того вместе с семейством соседу-помещику. И не продал даже, а выменял на что-то диковинное – то ли кость слоновью, то ли монету древнюю. Образованный был граф, на науку не скупился – душ-то у него много еще было. Но Исайка все равно не верил: как это живого человека да купить можно, словно пряник на сельской ярмарке. Даже снилось ему, как он с мамкой и тятей лежит на прилавке, а покупатели подходят, тянут к нему руки, обмеривают-общупывают и прицениваются: «А почём вот этот гаврик? Взвесь-ка мне от него фунтиков десять! Да чтоб помягше, без костей, гляди!» Исайка в ужасе просыпался и, отдуваясь и крестясь, думал: «Не-е, омманул, видать, деда! Пужал просто. Не может быть такого».

А тут убедился, что нет – не обманул...

Исайка очнулся от голоса своего нового хозяина:

– Эй, пареван, оглох?! Как там тебя, Сысойко, что ль?

– Исайка, батюшко...

– Ну да один хрящ, по мне хоть – Савраска! – купец, пых-тя, забрался на телегу-пароконку и начал устраиваться поудобнее между мешками и суконными отрезами. – Ну-к берись за вожжи да правь в Очёр!

«В Очё-ёр! – не верил своим ушам Исайка. – Вот же вымечтал себе счастье-то!». Обернувшись, он виновато улыбнулся:

– Батюшко, Андрей Григорьич, а куда ехать-то? Я ж дороги не знаю.

– Не бывал в Очёре? Эх ты, деревня сиволапая! Вон дорога-то! – указал тростью Вилесов, будто главнокомандующий шпагой.

Исайка радостно нукнул на лошадей, те резко дернулись, а купец, пытаясь удержать равновесие, схватился рукой за мешок с живыми поросятами-ососками. Многоголосый визг ужаса раздался над Афоницами – Вилесов едва с телеги не сверзился.

– Вот лешак! Так и паралик хватит! Не гони быстро-то, олух, а то товар растрясешь – вишь какой он у меня беспокойный...

Исайке судорогой рот до ушей расщерило – так хотелось в голос засмеяться, но не посмел он обидеть хозяина. Ему и без того было радостно и волнительно: позади оставались постылое батрачье прозябанье с вечной нищетой и голоду-

хой. Вдаль уходила разъезженная дорога, блестящая пятнами не просыхающих луж. И не знал еще Исайка, что в Очёрто она его точно приведет, а вот к искомому счастью – едва ли...

...На второй год войны на одоление супостата отслонявил Вилесов три «катеринки» на нательные образки для солдатиков, пару лошадиных хомутов да сала сколько-то пудов, что залежалось в кленовских амбарах и уже изрядно пованивало.

Исайка помогал грузить дары в телегу и – наивная душа – решил предупредить хозяина:

– Андрей Григорьич, отец родной, из куля-то тухлянкой дюже вонят. У тебя ж в Соснове доброе сало есть и убоина свежая...

Зыркнул Вилесов на Исайку – как шлопугой огрел! И, склонившись в подобострастном полупоклоне, обратился к принимающему товар поручику:

– Хе-хе-хе, пустое треплет, дурак! Не извольте беспокоиться, ваше благородие, – и четвертую «катеринку», трубочкой свернутую, ему под обшлаг незаметно так – тырк...

А офицер нос перчаточкой прикрыл, пожал плечами и невозмутимо кивнул Исайке:

– Грузи-грузи, милейший!

Дескать, солдатня всё схарчит – не поморщится...

А вечером за гумном приказчики жестоко били Исайку – не один дрючок изломали о его хребтину и сапожищами так отутюжили, что парнишке даже кричать было больно – только хрипел. Обработав, бросили на копёшку грязной соломы: «Молись, скотина, что до смерти не отволтузили!»

Но молитвы-то Исайка давно уж забыл, вылетели они из его башки от побоев да измывательств, и только шептал окровавленными губами:

– Боушко, милый! Спаси и помилуй! Пошто надо мной так изгиляются? Прибери меня как матушку, нет сил терпеть...

Свернувшись калачиком, как побитая собачонка, Исайка постепенно затихал, и чумазые дорожки от горьких слёз засыхали на его щеках. Редкие всхлипы плавно перетекали в мерное сопение.

И снилась Исайке родная деревенька с диковинным названием Большой Заурал.

Россыпь покосившихся избенок, крытых проволглой соломой, что уныло глядели на мир маленькими окошками. Неровные шеренги изгородей щербились прорехами – длинные жердины издавна шли на дреколье для упившихся в праздники парней, что затевали драки с непрошенными гостями из такого же Заурала, только Малого – деревни, что раскинулась всего-то за полверсты от Заурала Большого.

Заросшие спорышем и мать-и-мачехой, в пыльном мареве сонные улочки, по которым под бдительным присмотром

ревнивых многоженцев-петухов бродили куриные «гаремы». Пусто вокруг, безлюдно – только совсем уж древние старики досиживали на завалинках свои последние денечки.

А вдали – стена черного леса, куда детишкам ходу не было: леденящие кровь истории о том, как лешаки да бабайки утаскивали полоротых непослушников в самую урему и ели их там живьем, каждый вечер баяли бабушки под перестук зубов своих внучат, забившихся, словно тараканы, в запечные ниши. Эту нечисть, конечно, и в глаза никто не видал, однако древний страх удерживал зауральское ребячьё от дальних путешествий, и они отваживались залазить лишь в самосевные сосновые посадки, меж которых во мху прятались целые мосты боровых рыжиков, огневатые с просинью шляпки которых сочно хрустели под босыми пятками юных грибников.

Грезились Исайке земляничные поляны с куртинками дикой клубники – до того сладкушей и ароматной, что малые ребята, понабрав туески да лукошки ягоды, не всегда доносили их до дома полными. И только алые ободки вокруг губ выдавали тех, кто не устоял перед клубничным соблазном.

Дивными красками пестрела чересполосица долгих полей и лугов, испятнанных еловыми сколками, что щедро дарили спасительную прохладу страждущим в сенокосную пору.

Исайка часто вспоминал свой первый выезд на покос. Все-го-то чуть больше годика было пацану, однако ж вот какая штука – память: по ей только ведомому промыслу выбирает

самые светлые моменты, чтобы они в будущем стали для нас точкой опоры, прочным ориентиром на тернистой дороге к счастью...

Ранним утром, лишь чуть высветило небо, Исайка ехал на телеге, цепко держась за мамкину юбку. Вертел по сторонам головкой – все-то ему было занимательно, все-то радовало глаз.

Вот позади осталось крайнее подворье – и открылся такой простор, на котором умещалось в сто раз больше, чем мог постичь маленький Исайка.

Деревенское стадо мычало и бляло под щелчки пастушьего кнута и бычьих хвостов, отбивавшихся от атак осатаневших паутов. Над долиной петлявшей меж лугов речки Сосновки, словно пар над постирушным корытом, седой густернёй завис туман-утренник. Полевая дорога постепенно сужалась по косогору, и вот уже длинные травы начали хлестать по телеге и ветки придорожных кустов лезли в колеса, запутываясь в ступицах.

Разгонялся ветерок. Пушистые колосья овсяницы роняли капли холодной росы за борт телеги, и Исайка прятал мокрые ручонки под рубашку.

Вдруг обочь дороги, заполошно керкая, взлетела какая-то птица, напугав лошадь и еще больше того – самого Исайку.

– Приехали! Ну, с богом! – Тятка брал литовку, мамка – грабли с вытертыми до блеска деревянными зубцами. Они оставляли голопузого Исайку на травке в тенечке, совали в

рот жёвку из хлебного мякиша в тряпице, повязывали голову, чтоб не напекло, и шли косить.

Солнышко робко пробивалось через шелестящую листву. Исайка игрался с жуками, кузнечиками, мял пальчиками пырейные стебли. Прятал в ладошках черных жуков-навозников, и впервые в жизни весело хохотал, когда те щекотали его уцепистыми лапками.

И так было ему радостно! Исайка удивленно взъёкивал и пускал пузыри, видя столько диковин сразу, чего в избе да на дворе не сыщешь, тащил в рот всяких козявок да муравьев. Но лесной муравей – та еще божья тварь, такого обращения не любит, извернется да укусит Исайку прямо за язык – и тот заревет на все поле. А мамка уже спешит к нему на помощь, на бегу распахивая рубаху. Сажает малыша на теплое колено, покачивает легонько.

«Исаюшко, золотко моё, проголодался», – мамка смахивала с распаренной от работы груди сенную труху, и малыш впивался ротиком-трубочкой в родной вишневый сосец. Вдали убаюкивающей мелодией лязгало по лезвию отцовской косы точило...

И вот нету больше мамки – не покормит никто, не заступится...

Три года был Исайка в работниках у купца Вилесова. Делал все то же самое, что и у Щелкунова, только в три раза больше. У Андрея Григорьича не то что поспать, просто присесть не досуг – враз в зубы получишь...

Исайка со временем понял, что жалеть себя – дело пустое, не приносит оно успокоения в душу. Нужно сопротивляться. Пусть даже молчком, упрямым терпением. Он научился пережевывать обиду и сплёвывать ее остатки на землю. Исайка и сам не заметил, как превратился в не по годам крепкого подростка с дубленой кожей, которая и защитила его неиспорченную душу.

Вилесов как истый барин содержал дворню, которую безжалостно шпынял. Приказчиков муштровал, кухарке и прачке проходу не давал, дьявол – нет-нет да и прижмет в чулане, до синяков защиплет.

Под навесом что-то чинил, лопоча по-своему, пленный австриец – нескладный, с добрыми коровьими глазами мужик, нипочем от русского не отличишь. Существо еще более бесправное, чем Исайка.

– Бусурманина сегодня не кормить! Нашим опять наклали – нехай и он помается! – злобно бросал Вилесов, прочитав в газете, что русская армия снова оставила какой-то город на западной границе.

Каждое утро перед воротами его дома толпились мужики в надежде на поденщину – завод-то работал с перебоями. Кадровые мастеровые, что одним напильником могли кольцо обручальное выпилить, чьи поделки самому императору на диво в Питер возили, теперь чистили вилесовские нужники. Но им купец частенько отказывал в работе – известным

местом чуял затаенную угрозу и непокорность. Предпочитал совсем уж оборванцев, коих за людей не считал...

– Брось ты этого мироеда, Исайка! Спортит он тебя, как этих молодцов, – говорили парню мастеровые, указывая на лоснящихся от сытости приказчиков. – Эх, тебе бы к нам, на завод, там бы прошел настоящую выучку, да вот видишь какое дело...

Еще злючей хозяина были две его дочери-мегеры, испотаченные великовозрастные барышни. Обзывали, срамили Исайку за что ни попадя – за то, что беден, что ест неопрятно, что ногти не стрижены.

Но хуже нет, когда Вилесов прикладывался к бутылке: пару раз в году Андрей Григорьевич страдал двухнедельными запоями, а от него самого, как водится, страдали все вокруг. В такие-то моменты лучше перед ним не маячить, на глаза не попадаться. Дурил-чудачил с купеческим размахом, допивался до зеленых чертей, до такого положения риз, что в штаны не раз наваливал. Позорился всяко: посреди ночи заводил на всю мощь граммофон и до посинения слушал Шаляпина, пытаясь подпевать пьяным бляньем. А то, не попадая в такт, закричит, заругается:

– Ай, Федька! Не знаешь ты, бес, песен с картинками! Вон как надо! – Оторвет трубу от граммофона, ко рту приставит и давай матерные частушки на весь околоток орать. Потом вскакивал козелком и рвался за ворота в хмельном кураже: дескать, глянь, народишко православный, каков я есть. Но

дочки с приказчиками на плечах у него висли – не пушали...

А с похмелья Вилесов – хуже сатаны. Не пройдет по двору, коту на хвост не наступив или цыплёнка неуклюжего не пиннув. Но первый виноватый – Исайка, конечно. То и дело огребал парень подзатыльник ни за что ни про что.

...Третий день гулял Вилесов. Выволок кресло на середину двора и, вальяжно развалясь, сидел – бабьи ляжки вразброс. Рядом вместо столика по стойке смирно, как чучело медведя в трактире, стоял халдей-приказчик с расписным подносом, на котором высились «полсобаки» казёнки и горюшка моченой капусты с брусникой. Вилесов с удовольствием опрокидывал граненую «николаевскую» стопку, горстью черпал капусту и затыкал ею рот, чавкал, со свистом выдыхая перегар. Пьяным прищуром оглядывал подворье, какой бы еще мерзостью позабавиться и, увидав Исайку, шедшего со двора с ведрами, позвал:

– Иса-айка, а ну-кошь подь сюды – целковый дам!

Исайка наизусть знал все его шуточки. Кинет Вилесов монету в грязную жижу, истоптанную свиньями да курицами загаженную, и велит достать. А для Исайки рубль – деньжищи невиданные. Сунет он руку прямо в месиво, пошарит ладонью и вынет денежку. Да только не рубль, а пять копеек...

– А ты в рот возьми, облюни да оближи – глядишь, и рублем обернется пятак-от! – гогочет Вилесов. – Такому голодранцу и пятак – рупь! Да не стрели, не стрели шара-

ми-те! – купец пьяно замахивался на Исайку и, пытаясь при-
встать, снова бессильно плюхался в мяготь кресла...

Пакостный был мужичишка, однако ж в церкву ходил по
расписанию, будто в контору, где бог у него был что-то вро-
де строгого, но не шибко умного начальства, которого надо
умаслить и очки втереть.

На престольный праздник веселым переливом зазвенели
колокола. Золоченый крест храма Михаила-Архангела сиял
на фоне мутного, как помои, осеннего неба. Вилесов с до-
черьми под ручки прошествовал на молебен. Работники да
приказчики почтительно трусили позади. Важно выставив
пузо, не отвечая на поклоны верующих, подходил Андрей
Григорьевич к Очёрскому храму и размашисто напоказ кре-
стился, будто Емелька Пугачев на Лобном месте.

На паперти купчина милостынькой не разорялся, отменяя
тянущиеся руки нищих длинной полой богатой сибирки. По-
вел уничижительным взглядом на убогих да калик перехо-
жих, брезгливо скривил рот под сивой бородой:

– Ужо вам копеечку! На позиции бы вас, смердюков, под
германские пулеметы!

В углу под чугунной лестницей вдруг зашевелился серый
комок. На свет божий выполз увечный солдатик – сам гряз-
нее грязи, кривой на один глаз, без обеих ног, на вздымав-
шейся от гнева груди тускнела жалкая георгиевская медаль-
ка. Шипя пеной у рта, нищий грозил Вилесову кулачишком,

будто поп анафемой:

– Падаль ты, купец! Не оторвало б мне ходули под Перемышлем, дотянулся бы до твоей бороды и выдрал всю. Вместе с башкой желательно... Это таких как ты, мерзавцев бессовестных, на пулеметы-то надо! Вот только не видывал я что-то таких ероев на позициях – простой люд за такую нечисть головы кладет, тьфу... Для вас же война – манна небесная. Ты, Вилесов, на людском горе харю отъел: цены в лавках взвысил до небес, тебе что, сало да хлебушек из Германии возят или из туретчины? Наши же мужики тебе по божеским ценам сдают, а ты накручиваешь, бесстыжий. Копеечки он пожалел... Погоди-и, сатана! Подавишься ты еще нашими копейками, найдется и на тебя шворка либо пуля!

Вилесов по-рачьи выпучил глаза и захватал ртом воздух:

– А-а, мне-е грозить? Да ведь это социалист, да еще и жид, похоже! Лупи его, православные!

Кинулись было вилесовские подсевалы намять бока инвалиду, да заслони́л Исайка – в силу вошел парень, и страху перед хозяином заметно поубавилось. Семнадцатый год пошел – не шутка. Набычился, губы в шелку сжал – не замай! А тут еще парни знакомые подоспели, плечо к плечу с Исайкой встали. Хлопцы хватские – с заречной стороны, такая же голь беспросветная, молодая мастеровщина очёрская. Улыбки недобрые, картузы заломлены, шелухой семечной на сапоги перетрусившим приказчикам плюют и в грудки их подталкивают:

– Что почём? Сбрызнули отсель! Только троньте, подгузники вилесовские, прямо тут положим – не горе, что боженька увидит!

Да, такие и бога не боятся и черту рога завернут на салазки...

Ничего не сказал Вилесов, но вечером приказал Исайке:

– Выметайся со двора, пачкун! Как смел, паршивец, страмить меня перед обществом? Видано ли дело! Моли бога, что отходчив я, а то б закатал тебя, куда Макар телят не гонял. Меня сам господин исправник уважает, и мировой по отчеству величает!

– Расчетные, так понимаю, не выдашь, – усмехнулся Исайка.

– Да ты сам мне должен, па-ра-зит! Поил-кормил змеюгу такую...

– Ничего, сочтемся еще, Андрей Григорыч. Беднее я уже не стану – некуда. Но и ты счастливее от моих денег не будешь. Как бы тебе не прогадать, купец – настанет и твой черед, приду к тебе за должком...

Не знал Исайка, но нутром-то чувствовал, что уже скоро предъявят всем вилесовым да шелкуновым, господам исправникам да мировым такие счета, по которым тем уже не хватит мошны расплатиться.

– Тум-тум-тум! Бух-бух-бух-бух-бух! Тух-тух! – громкий постук резко оборвал предрассветную тишину очёрских улочек.

Кованые ворота дрожали на петлях, железный лязг дверной ручки вязнул в сонном воздухе теплой ночи. Разбуженные прежде времени петухи перекликались хриплым кукареканьем. Старые дворовые кабыздохи робко им подтягивали, сторожко прислушиваясь к незнакомому грохоту – уж больно опасному для их собачьих шкур, чтобы залаять во весь голос. Кое-где в окнах домов сквозь тусклый свет мерцающих ламп замелькали лица потревоженных обывателей, оглядывающих улицу.

– Бах-бах-бах! – Кто-то настойчиво стремился в гости – шумные, заполошные, непрошенные...

– Открывай! Эй, хозяева? Рано почивать устроились! Отпирай, кому говорю!

– Ой, да кто там дубасит? Пошто ворота ломаешь? Кобеля спушшу!

– Я тебе спушшу! Портки! И телешом на улицу выгоню! Именем Советской власти – открыва-ай!

– Да сичас-сичас, оглашенный! Только лопотишку накинудачу запалю! Не греми уж, ради Христа, и так всех вокруг спужал!

– Да я еще и не начал пужать! Вот стрельну щас!

– Да бегу-бегу, не лютуй! Ох, кончился наш покой...

Вот так же требовательно, громко, с оружием и крас-

ным знаменем в руках постучалась в старый Очёр Советская власть. И попробуй такой силище не отворить ворота!

Исайка стучался в знакомые ворота, в дом купца Вилесова, на которого отбатрачил четыре долгих года. Выгнанный взашей, вроде совсем недавно уматывал он отсюда босяк босяком, а теперь входил вольно, гордо – уже хозяином...

– Ого, ну и гостёк пожаловал! Исайка, ты что ли? – просунул бороду в дверной проём Вилесов.

– Кому Исайка, а кому – Исай Моисеевич! Доброго здоровьяца, Андрей Григорьич! – Исайка протянул Вилесову потертую на сгибах бумагу.

«Податель сего Наберухин Исай Моисеевич является преданным революции красным гвардейцем и т.д., и т.п.». За сим, как полагается, следовали витиеватая роспись уездного военкома и круглая печать со звездой и скрещенными орудиями труда, не вызывающие сомнений в важности полномочий предъявителя.

– Без очков не разгляжу никак, – прищурился Вилесов, на вытянутую руку отодвинув от лица Исайкин мандат. – Ишь ты, мать честная, верно – Моисеевич! Гвардеец... Может, еще и благородием тебя величать? Дожили, царица небесная, прости господи...

Увидев, что бывший хозяин не проникся уважением к документу, кой-где извазганному пятнышками ружейного масла и просвечивавшему нечаянными надорвышами, Исайка

вручил ему вторую бумагу – побелее и почище, которая за подписью председателя Чрезвычайной Комиссии обязывала бывшего купца Вилесова предоставить Исайке квартиру, стол и фураж.

– Вот еще! Какой, к лешакам, фураж? – взбеленился Вилесов. – Где же коняка-то твоя? Или вы, коммунисты, теперь сами сено жрёте, коль поразорили весь честной народ?

Исайка промолчал, но взгляд его не сулил ничего хорошего. Да и буквы «ЧК» поохладили пыл купца: с этой организацией он уже имел дела, но больше как-то не стремился. Хватит, покормил клопов в узилище...

– Ладно, живи покамест! Но на обильный стол не тщишь, потому как обедняли в прах по вашей милости. Все подчистую подмели, такое хозяйство обнищили, скорохваты, – проворчал Вилесов. – Спать-то в сенках, по старой памяти, постелить, хе-хе? Или ты теперя ежели Моисеич – дак меня с законной кровати сселишь или, не дай бог, к дочкам приляжешь? Выкуси, лиходей! Для меня ты все одно как был и есть – Исайка, песий сын и баламут, и бумажонки энти мне в шары не тычь. Своим красным гвардейцам обратно отнеси – на раскурку. Указывать мне ишо будут, подзаборники – фура-аж имя подавай!

– Ты не уроси, Андрей Григорьевич, все одно не пожалею! Мне твоя постеля без надобности – брезгую, и за дочерей можешь быть спокоен – не про наших женихов невестушки. А кормил ты нашего брата-батрака и раньше не чем бог по-

слал, а тем, что после поросюков оставалось. Так что не объем твои богатства, – усмехнулся Исайка и вдруг нахмурился. – И бумаги мои ты зря пастью своей поганой стервишь. Мне их народная власть выдала. По этим бумагам, ежели не исполнишь, что в них велено, имею полное право шлепнуть тебя прямо здесь без лишнего базла. Аль не веришь? – и Исайка начал снимать с плеча винтовку.

Вилесов однажды уже видал его таким – пару лет назад, у Очерской церкви, когда Исайка заступился за инвалида: коренастый, весь из себя густоплотный; широколобая голова чуть наклонена вперед, глаза захмурены лохмотками бровей, толстые губы упрямо сжаты полумесяцем вниз, желваки, часто подрагивая, морщият суровыми складками щеки, а из ноздрей со свистом, как из чайника, угрожающе пышет нетерпеливым парком – ну чистый бычок-откормыш. А теперь еще и с винтовкой! Поди возьми такого за рубль двадцать...

– Но-но, шуткую я, Исаюшко! Что ты, что ты – мы ж родня почти с тобой! Убери ружье, милый сын, и проходи в горницу, – пошел на попятную Вилесов.

Гоношист был купец, да не кремнист: робел и в комок съживался перед мало-мальской силой. Но злобу таил долго, прятал ее глубоко в нутро, лишь изредка, словно из переполненного ведра, побрызгивая желчью в сладостном предвкушении скорой мести. «Ну, погоди еще, щеня мокропупая! Твоя власть покуда, но надолго ли... Кровью омоешь нынеш-

нюю обиду мою», – как ни хотелось Вилесову эти слова прямо в лицо Исайке рывкнуть, но духу хватило только на поду-мать.

Хотя в мыслях своих дерзких Вилесов ничуть не голословил. Месяц назад к нему на постой попросились два красных командира из расквартированного в Очёре 10-го инженерного батальона. Хотя в красное-то они совсем-совсем недавно перекрасились – оба были бывшие офицеры, ярые монархисты-черносотенцы. Убиенного царя-батюшку, конечно, почитали, жалели его, однако больше тужили да причитали по своим утраченным капиталам. Один паровые мельницы содержал, второй – крупную торговлю имел, как и Вилесов. Однако революция отняла у них все это богатство, да еще и заставила послужить себе, мобилизовав в Красную Армию. Но служили они не за совесть, а за страх перед новой властью и за тайную надежду, что эта самая, не от бога, власть пришла ненадолго: пошалит, побузит и рассосётся, как в 1905-м.

Инженерный батальон был силой не шибко-то надежной: собирали его наспех и с бору по сосенке, поэтому сознательных, преданных революции бойцов там почти не оказалось. Рабочих и крестьян-бедняков – едва ли с четверть, коммунистов – вообще кот наплакал: почти все большевики ушли на фронт сражаться с Колчаком... Так что попали туда, да и то не своей охотой, разные кулацкие сынки, бывшие лавочники да приказчики, трактирные половые и кучера-из-

возчики. Среди рядовых было много не успевшего сбежать на Дон или к атаману Дутову офицеры, что скрыло свое социальное происхождение. Однако можно на время позабыть барские захмычки, снять золотые погоны, сменить фуражку на солдатскую папаху, сбрить щегольские усы и зарости простонародной бородой, но личину-то не утаишь: прознав про успешное колчаковское наступление, все они готовились встретить верховного правителя хлебом-солью. И не просто так, а – хозяевами, при полном параде! Для этого было нужно всего ничего – скovyрнуть ослабленные Советы, перебить ненавистных коммуняк, а сочувствующих рассадить по ку-тузкам, себя тем самым реабилитировав перед суровым ад-миралом за службу в Красной Армии, пусть и вынужден-ную. А то ведь дело известное: колчаковская контрразведка не больно любит разбираться в психологических тонкостях, нравственных муках и правах личности. Просто к стенке по-ставят или, честь твою офицерскую похерив, выпорют при-людно, как крестьянина-недоимщика – и вся недолга...

Поэтому в Очёре уже давно тлел заговор, центром которо-го, что ни сколь не удивительно, оказался вилесовский дом. Вот почему купец так рьяно противился такому неудобно-му квартиранту как Исайка. Однако офицеры будто и не за-мечали молодого красногвардейца и конспирацию не особо блюли: дескать, телепень нескладный, молокосос – разве та-кой допрёт до шпионских штучек... Не стесняясь Исайки, они вслух вспоминали старое время и дразнили того усмеш-

ливыми намёками, что скоро, мол, оно возвернется в Очёр. Вилесов вновь задрал нос и гоголем похаживал по двору.

– Всем ли довольны, свет Исай Моисеич? Не прикажете ли самоварчик? – ёрничал купец, посмеиваясь в бороду. – Жаль, что съедете скоро от меня, ой, как жаль! Может, сальца фунтик одолжить – пятки смазывать?

Исайку это пустобрёхство ничуть не занимало – у него своих забот полно было. Малочисленный красногвардейский отряд поддерживал порядок в поселке, вместе с чекистами гонял по уезду кулацкие банды, шерстил жуликов и спекулянтов, помогал комбедовцам устанавливать Советскую власть в деревнях. Исайка еще и учиться успевал, наверстывая упущенное из-за батрачества. Приходилось ему разьяснять простому люду, за что сражаются большевики. По своей молодости он и сам еще плохо разбирался в политграмоте, но душой и сердцем чуял, что выбрал самую верную дорогу на свете, пусть пока и трудную...

Агитатор из Исайки был и верно, как говорится, так себе. Однажды на сходе мужики спросили его: дескать, а кто такой Ленин и правда ли, что он германский шпик? Исайка возмущенно набычился, достал из кармана газету, развернул и крикнул:

– Да вы что, опупели, граждане? Это же наш вождь! – а сам на портрет кажет.

– Во-ождь? А где ж у него перья? – вглядываясь в газету, сбалагурил какой-то не в меру начитанный мужичишка, едва

не поплатившись за неосторожную шутку головой.

Положение спас Исайкин командир, рабочий-большевик Павел Тиунов, который, оттеснив парня, рассказал селянам о Ленине и доходчиво разъяснил им суть происходящего в Советской России...

Так что Исайка ног не чуял от усталости и, наскоро поев, забывался в коротком молодом сне. О пугающей серьёзности разговоров в вилесовском доме он задумался лишь тогда, когда краем уха слышал спор, который троица вела о каких-то списках, сигналах и паролях.

А однажды Исайка спросонок увидел, как из подъехавшей ночью подводы какие-то люди сгрузили длинные ящики и унесли в амбар. А путь им семилинейной лампой освещал сам Вилесов. Утром Исайка заглянул туда и обнаружил около трех десятков винтовок, несколько наганов и россыпь ручных бомб. «Если все это принадлежит батальону, так зачем же прятать, тем более у Вилесова – классового врага?» – удивился парень и поделился своими подозрениями с товарищами по отряду Колей Бояршиновым и Васей Бурдиным. Вместе пошли они к военному комиссару Кондакову и рассказали всё, как есть.

– Так-так-так, бойцы-молодцы! То-то брательник мой младший Сашка талдычил, что видел какие-то сигналы на Кукуе, – встрепенулся военком. – Они с ребятами на речке пышкарили и увидали, как на горе костёр мерцает, словно сигнальный фонарь на корабле. А со стороны пожарной ча-

сти кто-то в ответ фонариком замаячил! Залез Сашка на Кукуйскую гору и кострище свежее нашел – шаяло еще, говорит. А рядом – рогожка! А я ему: не дури, дескать, Пинкертон, не мешай работать. А теперь-то допёр, что какая-то вражина этой рогожкой костер загораживала и сигнал световой морзянкой подавала. И куда – около пожарки-то артбатарея наша! Все сходится! Спасибо, ребятки, за чекистскую бдительность! Я давно чую, что в поселке контра голову поднимает, особенно в инженерном батальоне – доходят сведения. Мы их на догляде держим: всё-то они кучкуются, нюхаются, будто собаки на гульбе, шепчутся, обывателей мутят. Бунт затевают, а время сейчас тяжелое, это ж нож в спину революции! Жаль вот только сил маловато у нас, чтобы эту заразу разом прихлопнуть, как мух на коровьей лепешке. Буду звонить в Оханск! Только, слышите, парни, вы – люди взрослые, понимать обязаны: о нашем разговоре – ни-ко-му!

Из Оханска спешно прибыл особый отряд во главе с губернским военкомом Степаном Окуловым. Всю верхушку заговора похватали быстро и без лишнего шума – по спискам. Одних взяли по домам – прямо в исподнем, спящих. Других арестовали на службе, обезоружили, не дав опомниться. Оказалось, успели вовремя: еще день-два задержки – и почти весь батальон, одурманенный бывшими офицерами, поднял бы восстание, потопил бы пол-Очёра в крови и переметнулся к белым. Вилесов шел с обедни, когда его под белы ручки сцапали чекисты.

– За что? По какому праву? – пытался сопротивляться купец, но затих, когда его провели перед строем арестованных офицеров, среди которых, понуро опустив головы, переминались с ног на ноги два его постояльца. Налитые кровью, полные змеиной ненависти глаза прожгли Исайку, когда Вилесов прошел мимо него. Окулов заметил переглядку матерого мужика и молодого парнишки в потрепанном тулупчике с красногвардейским бантом на груди.

– Молодец, парень! – Степан Акимович похлопал Исайку по плечу. – Самое паучье гнездо разорил. Но это еще не последняя контра – держи ухо остро! А этот отгадил своё...

Батальон перестроили и, назначив комиссаром Павла Тиунова, отправили под Петроград. Арестованных Окулов приказал отправить на станцию Верещагино, а самых отъявленных мятежников, в том числе и Вилесова, забрал с собой в Оханск. Нити заговора расплзлись по всему уезду, где у купца было много приспешников из числа богатеев. Но короткий залп под суровую команду «По врагам революции – пли!» у магазинных амбаров в селе Таборы навсегда оборвал эти нити...

– Жалование мне не выплатят никак – что ж вы за власть такая бестолковая?! Ваших же оборванцев уму-разуму учу! Им, неумытым, коровам под хвостами подмывать, а не в

школе полы топтать! У-у, постылые...

Старшая дочь Вилесова Анна терпеть не могла Исайку, обвиняя его в смерти отца. Она учительствовала в сельских школах – кое-как да понемногу, не могла дольше месяца держаться на одном месте из-за неуживчивого нрава: не любила она детей, а те отвечали Анне полной взаимностью. Когда Вилесова расстреляли, она хозяйкой вернулась в дом вместе с младшей сестрой.

– Эх ты, Анна, сама вроде детишков учишь, а словами непотребными как шмара трактирная плюешься, – по-взрослому попенял ей Исайка. – Не нужны нам такие учителя! Мы для наших детей своих выучим.

Исайка вспомнил, как давно-давно собирался в Куминскую школу. Мамка две ночи выкраивала ему нарядную рубашку – прямо из своей, единственной, на которой пятнышки от молока еще не обсохли – она кормила в то время младшую сестренку... Положили ему в холстинный мешочек половинку луковицы, яичко печеное да кусок хлеба. Ни жив, ни мертв сидел Исайка рядом с такими же плохонько одетыми ребятами, которых несчастные родители с горем пополам собрали, отмыли им с щек чумазины, одинаково постригли под горшок. Казалось, что все они из одной большой семьи. Большой и бедной, как вся крестьянская Россия...

Престарелый батюшка, что обучал Закону Божьему, оглядывая эту беспортошную школоту, ронял слёзы на бороду. Жалеючи учеников, он каждый раз приносил им что-нибудь

поесть – каши горшок или миску с губницей, и, скорбно качая головой, слушал, как дробно стукотали деревянные ложки, а за ушами пищало так, что... Какой уж там Закон Божий...

Проучился Исайка всего-то несколько суббот, да так и не понял, зачем вообще в школу ходил. У Вилесова в наймышах ему за книжками сидеть было некогда, поэтому, когда Исайка великовозрастным неучем поступил в Красную гвардию, то и расписываться не умел. Правда, вместо подписи не крестик ставил, а звёздочку. Но в отряде не все такие были: образованных-то за революцию сражалось ничуть не меньше, чем за буржуев. Они-то и натаскивали безграмотных бойцов в порядке общественной нагрузки.

От рождения смышленный, Исайка понял, что читать да писать – наука не такая и трудная, и очень жалел, что не старался постичь «азы» да «буки» раньше. К тому же читать-то он учился по другой – близкой ему, родной, советской – азбуке, где «М» – мир, «Р» – революция, «С» – свобода. А это вам не какие-нибудь «како» или «рцы»! Поэтому, на радость своим учителям – товарищам-односумам – Исайка схватывал уроки на лету, и уже скоро вместо звездочки коряво, но грамотно выводил: «На-бе-ру-хин». И мог сосчитать, сколько патронов в обойме его винтовки. Читая лозунги и листовки, Исайка был уже почти счастлив, однако его друг Саша Шардаков говорил:

– Трудовому человеку и другие науки знать надо: как от

буржуев проклятых землю очистить, как жизнь в советской стране наладить и другим народам помочь в этом, как Родину свою защищать до последнего вздоха. Заводы строить, машины конструировать, аэропланы... Не для богатеев, а для счастья всех людей! Дело это нелегкое, и делать его нам с тобой, Исайка – больше некому!

Исайка мечтал, как поедет учиться в Пермь, а то и в самую Москву, представлял себя за учеными книжками и чертежами, за рулем какой-нибудь невиданной машины, за станком гигантского, построенного своими руками, завода. Но чаще всего видел он себя с острой шашкой, в командирской кожанке, верхом на коне – на полном скаку! Ведь своих врагов побить мало – нужно и другим беднякам помочь...

– Вы истребляете лучших людей России, а сами ногтей их не стоите! Пропадете все – туда вам и дорога! Отняли наше счастье – своего вам не видать! – Исайкины мечты прервались руганью младшей дочери Вилесова Лидии.

– Это твой-то батя – лучший? Кровопивец он и мироед был! Пил да жрал, воздух портил, над обездоленными измывался. Что он людям-то оставил хорошего? – беззлбно огрызался Исайка.

– Да как ты смеешь неуч, бездарь голодраный, в моем же доме поучать меня да тятеньку-покойника грязью обливать? Прочь пошел, босяк, холоп! Во-он! – забила в истерике Лидия, падая на руки старшей сестры.

Исайка плюнул и вышел на двор. Но вечером, когда ло-

жился спать, улёгся прямо на рассыпанные по тюфяку швейные иголки. Жили сёстры Вилесовы мелко, и месть их была такой же...

– Да холера с вами – шипите-шипите, сколь влезет! Не воевать же с такими лахудрами, – усмехнулся Исайка. – А насчет счастья нашего – не каркайте! Вот уж дудки! Ваше счастье липовое, вам его с мёдом на блюдечке подавай – даром, за чужой счет! За ваше счастье бедный люд столько горя принял, что вам и не вынести... А мы за свое бороться будем! И, будьте покойны, добудем вам назло! Наше счастье – общее, даже таким как вы от него чего-нибудь перепадет – нам не жалко. Потому и настоящее оно, наше счастье, справедливое...

– Что, друг, уяснил, что такое классовая борьба, – засмеялся Саша Шардаков, когда Исайка показал ему тюфяк, больше похожий на ежа. – Дай бог, чтоб вся контра только на это и отваживалась! Но, боюсь, понавтыкают нам еще чего-нибудь почище иголок. Колчак уже рядом – Очёр придется оставить...

– Вернемся! – уверенно ответил Исайка. – Обязательно вернёмся, Саша!

10 марта 1919 года Исай Наберухин, 18-летний коммунист, красноармеец 30-й дивизии товарища Блюхера, скупно отстреливаясь, с последней подводой покидал Очёр, в который с нескольких сторон уже входили полки колчаковского генерала Пепеляева. Сворачивая на спешковскую дорогу,

он еще раз обернулся, чтобы окинуть взглядом окутанный дымом печных труб заводской посёлок, куда Исайка, сдержав обещание, вернется через тридцать пять лет – уже не Исайкой, а генералом Советской Армии Наберухиным, героем двух войн, настоящим победителем, а потому и вполне-вполне счастливым...